



ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Воскрешение лиственницы

ФТМ

УДК 82-32
ББК 84(2Рос-Рус)6
Ш18



Шаламов В.

Ш18 Воскрешение лиственницы : [рассказы] / Варлам Шаламов. — М. : «Т8 Издательские Технологии» / «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020. — 271 с. — (Серия «Мировая классика»).

Трудом жизни В. Т. Шаламова считается цикл рассказов и очерков «Колымские рассказы», повествующий о жизни советских заключенных, состоящий из шести сборников рассказов и очерков («Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2»). В. Т. Шаламов настаивал, что цельными произведениями являются именно сборники с сохранением порядка, в котором расположены рассказы. В эту книгу вошел авторский сборник «Воскрешение лиственницы».

**УДК 82-32
ББК 84(2Рос-Рус)6**

ISBN 978-5-521-74343-8

© Шаламов В. Т., наследники, 2020
© Оформление.
ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020

Тропа

В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил летом, когда запасал дрова на зиму. Сушняка вокруг избы было много — конусообразные лиственницы, серые, как из папье-маше, были натканы в болоте, будто колья. Избушка стояла на пригорке, окруженная стланиковыми кустами с зелеными хвойными кисточками — к осени набухшие орехами шишки тянули ветви к земле. Сквозь эти стланиковые заросли и проходила к болоту тропа, а болото когда-то не было болотом — на нем рос лес, а потом корни деревьев сгнили от воды, и деревья умерли — давно, давно. Живой лес отошел в сторону по подножью горы к ручью. Дорога, по которой ходили автомашины и люди, легла с другой стороны пригорка, повыше по горному склону.

Первые дни мне было жаль топтать жирные красные ландыши, ирисы, похожие на лиловых огромных бабочек и лепестками, и их узором, огромные толстые синие подснежники неприятно похрустывали под ногой. У цветов, как и у всех цветов Крайнего Севера, запаха не было; когда-то я ловил себя на автоматизме движения — сорвешь букет и поднимаешь его к ноздрям. Но потом я отучился. Утром я рассматривал, что случилось за ночь на моей тропе вот распрямился ландыш, раздавленный моим сапогом вчера, подался

в сторону, но все же ожил. А другой ландыш раздавлен уже навсегда и лежит, как рухнувший телеграфный столб с фарфоровыми изоляторами, и разорванные паутинки с него свисают, как сбитые провода.

А потом тропа вытопталась, и я перестал замечать, что поперек моего пути лежались ветви стланика, те, которые хлестали мне лицо, я обломал и перестал замечать надломы. По сторонам тропки стояли молодые лиственницы лет по ста — они при мне зеленели, при мне осыпали мелкую хвою на тропку. Тропа с каждым днем все темнела и в конце концов стала обыкновенной темно-серой горной тропой. Никто, кроме меня, по ней не ходил. Прыгали на нее синие белки, да следы египетской клинописи куропаток видал я на ней много раз, и треугольный заячий след встречался, но ведь птица и зверь не в счет.

Я по этой собственной тропе ходил почти три года. На ней хорошо писались стихи. Бывало, вернешься из поездки, соберешься на тропу и непременно какую-нибудь строфу выходишь на этой тропе. Я привык к тропе, стал бывать на ней, как в лесном рабочем кабинете. Помню, как в предзимнюю пору холодом, льдом уже схватывало грязь на тропе, и грязь будто засахаривалась, как варенье. И двумя осенью перед снегом я приходил на эту тропу — оставить глубокий след, чтобы на моих глазах затвердел он на всю зиму. И весной, когда снег стаял, я видел мои прошлогодние метки, ступал в старые следы, и стихи писались снова легко. Зимой, конечно, этот кабинет мой пустовал: мороз не дает думать, писать можно только в тепле. А летом

я знал все наперечет, все было гораздо пестрей, чем зимой, на этой волшебной тропе — стланик, и листовницы, и кусты шиповника неизменно приводили какое-нибудь стихотворение, и если не вспоминались чужие стихи подходящего настроения, то бормотались свои, которые я, вернувшись в избу, записывал.

А на третье лето по моей тропе прошел человек. Меня в то время не было дома, я не знаю, был ли это какой-нибудь странствующий геолог, или пеший горный почтальон, или охотник — человек оставил следы тяжелых сапог. С той поры на этой тропе стихи не писались. Чужой след был оставлен весной, и за все лето я не написал на этой тропе ни строчки. А к зиме меня перевели в другое место, да я и не жалел — тропа была безнадежно испорчена.

Вот об этой тропе много раз пытался я написать стихотворение, но так и не сумел написать.

1967

Графит

Чем подписывают смертные приговоры: химическими чернилами или паспортной тушью, чернилами шариковых ручек или ализарином, разбавленным чистой кровью?

Можно ручаться, что ни одного смертного приговора не подписано простым карандашом.

В тайге нам не нужны чернила. Дождь, слезы, кровь растворят любые чернила, любой химический каран-

даш. Химические карандаши нельзя посылать в посылках, их отбирают при обысках — этому есть две причины. Первая: заключенный может подделать любой документ; вторая: такой карандаш типографская краска для изготовления воровских карт, «стирок», а стало быть...

Допущен только черный карандаш, простой графит. Ответственность графита на Колыме необычайна, особенна.

Поговорили с небом картографы, цепляясь за звездное небо, вглядываясь в солнце, укрепили точку опоры на нашей земле. И над этой точкой опоры, врезанной в камень мраморной доской на вершине горы, на вершине скалы укрепили треногу, бревенчатый сигнал. Эта тренога указывает точно место на карте, и от нее, от горы, от треноги, по распадкам и падям сквозь прогалины, пустыри и редины болот тянется невидимая нить — незримая сеть меридианов и параллелей. В густой тайге прорубают просеки каждый затес, каждая метка поймана в крест нитей нивелира, теодолита. Земля измерена, тайга измерена, и мы ходим, встречая на свежих затесах след картографа, топографа, измерителя земли- черный простой графит.

Колымская тайга исчерчена просеками топографов. И все же просеки есть не везде, а только в лесах, окружающих поселки, «производство». Пустыри, прогалины, редины лесотундры и голые сопки исчерчены только воздушными, воображаемыми линиями. В них нет ни одного дерева, чтобы обозначить привязку, нет надежных реперов. Реперы ставятся на скалах, по рус-

лам рек, на вершинах гор-гольцов. И от этих надежных, библейских опор тянется измерение тайги, измерение Колымы, измерение тюрьмы. Затесы на деревьях сетка просек, из которых в трубу теодолита, в крест нитей увидена и сосчитана тайга.

Да, для затесов годится только черный простой карандаш. Не химический. Химический карандаш расплывается, растворится соком дерева, смоемся дождем, росой, туманом, снегом. Искусственный карандаш, химический карандаш не годится для записей о вечности, о бессмертии. Но графит, углерод, сжатый под высочайшим давлением в течение миллионов лет и превращенный если не в каменный уголь, то в бриллиант или в то, что дороже бриллианта, в карандаш, в графит, который может записать все, что знал и видел... Большее чудо, чем алмаз, хотя химическая природа и графита и алмаза — одна.

Инструкция топографам запрещает пользоваться химическим карандашом не только при метках и затесах. Любая легенда или черновик к легенде при глазомерной съемке требует графита для бессмертия. Легенда требует графита для бессмертия. Графит — это природа, графит участвует в круговороте земном, подчас сопротивляясь времени лучше, чем камень. Разрушаются известковые горы под дождями, ударами ветра, речных волн, а молодая лиственница — ей всего двести лет, ей еще надо жить — хранит на своем затесе цифру-метку о связи библейской тайны с современностью.

Цифра, условная метка выводится на свежем затесе, на источающей сок свежей ране дерева, дерева источа-

ющего смолу, как слезы.

Только графитом можно писать в тайге. У топографов в карманах телогреек, душегреек, гимнастеров, брюк, полушубков всегда огрызки, обломки графитных карандашей.

Бумага, записная книжка, планшет, тетрадка — и дерево с затесом.

Бумага — одна из личин, одно из превращений дерева в алмаз и графит. Графит — это вечность. Высшая твердость, перешедшая в высшую мягкость. Вечен след, оставленный в тайге графитным карандашом.

Затес вырубается осторожно. В стволе лиственницы на уровне пояса делается два пропила и углом топора отламывается еще живое дерево, чтоб оставить место для записи. Образуется крыша, домик, чистая доска с навесом от дождя, готовая хранить запись вечно, — практически вечно, до конца шестисотлетней жизни лиственницы.

Раненое тело лиственницы подобно явленной иконе — какой-нибудь Богородицы Чукотской, Девы Марии Колымской, ожидающей чуда, являющей чудо.

И легкий, тончайший запах смолы, запах лиственничного сока, запах крови, развороченной человеческим топором, вдыхается как дальний запах детства, запах росного ладана.

Цифра поставлена, и раненая лиственница, обжигаемая ветром и солнцем, хранит эту «привязку», ведущую в большой мир из таежной глуши — через просеку к ближайшей треноге, к картографической треноге